



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Дурачок
(Рассказы)

Николай Лесков

Дурачок

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке не одинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак – слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут»... В подкрепление такого толкования приведен словесный пример: «Он был и будет дурак-дураком». «Дурачок – смягчение слова дурак». Ученее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют... Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу.

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы «всем помогать»; это значило, что все долж-

ностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, – у нас зимы бывают лютые, – когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

– Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь?

А он шутя отвечает:

– Как так «с ухой»? – он, гляди-ко, с чистой водицею.

– А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнет и отвечает:

– Ну, вот еще чего!.. Я и так наелся, – слава-те, господи!

Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не

переводилася, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех дт-света и одет был всегда очень плохо и скаречно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

– Ему ведь ничего, – он дурачок.

– А чем же он дурачок?

– Да всем...

– А например?

– Да что за пример! – вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему... и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки никогда не слышали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезочки из бересты, – однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и

нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке – сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает:

– Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь – я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание.

Вот раз, летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают...

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, – сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша

этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили «творожничком» – словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром «на-росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон – он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидел это, так сейчас стегнул Петю и говорит:

– Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращения домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам.

Сказал это и уехал.

А Петруша так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорит он Паньке:

– Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... скажи, как мне быть?

А Панька его по головке погладил и говорит:

– И мне тоже страшно было... Что с этим делать-то... Христа били...

А Петруша еще горче плачет и говорит:

– Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся.

А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал:

– Ну, постой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей сбегаяю, за тебя постараюсь, – авось тебя бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петруша спрашивает:

– А как же ты, Панюшка, постараешься?

– Да уж я штуку выдумал – постараюсь! И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идет, улыбается.

– Не робей, – говорит, – Петька, все сделано; и не ходи никуда – с тебя наказанье избавлено.

Петька думает:

«Все равно: надо верить ему», – и не пошел; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе:

– Что, пастушонок утром приходил сечься?

– Как же, – говорит, – приходил, ваша ми-

ЛОСТЬ.

– Взбрызнули его?

– Да, – говорит, – взбрызнули. – И хорошо?

– Хорошо, – постарались.

Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

– Что же, – говорили, – уже если дурак его выручил, – нехорошо двух за одну вину разом наказывать. Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

И так он все и дальше жил.

Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются – всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится:

– Велите, – говорит, – меня отвести в город – в солдаты отдать.

– Что же тебе за охота?

– Да так, – отвечает, – очень мне вдруг охота пришла.

– Да отчего? Ты обдумайся.

– Нет, – говорит, – некогда думать-то.

– Отчего некогда?

– Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у господ, – обо мне плакать немому, – я и хочу идти.

Его отговаривали.

– Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся.

А он отвечает:

– То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся.

Еще раз сказали ему:

– Утешай-ка лучше сам себя да живи дома!

Но он на своем твердо стоял.

– Нет, мне, – говорит, – это будет утешнее. Его и утешили, – отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, – с любопытством их стали спрашивать:

– Ну, как наш дурак остался там? Не вида-

ли ли вы его после сдачи-то?

– Как же, – говорят, – видели.

– Небось, смеются все над ним, – какой ува-
лень?

– Да, – говорят, – на самых первых порах-то
было смеялися, да он на все на два рубля, ко-
торые мы дали ему награждения, на базаре
целые ночвы пирогов с горохом и с кашей ку-
пил и всем по одному роздал, а себя поза-
был... Все стали головами качать и стали ло-
мать ему по половиночке. А он застыдился и
говорит:

– Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Ку-
шайте.

Рекрута его стали дружно похлопывать:

– Какой, мол, ты ласковый!

А на утро он раньше всех в казарме встал,
да все убрал и старым солдатам всем сапоги
вычистил. Стали хвалить его и старики у нас
спрашивали: – что он у вас, дурачок, что ли?

Сдатчики отвечали:

– Не дурак, а... малость сроду так.

Так Панька и пошел служить со своим ду-
рачеством и провел всю войну в «профосах» –
за всеми позади рвы копал да пакость зака-

пывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти.

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдали, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел – казнил, кого хотел – того миловал.

За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он, как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулою суд и казнить его та-

кою страшною казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого Хабибулу, окованного в конских железзах. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке строго:

– Береги этого человека, как свою душу! Понял?

Панька говорит:

– Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.

Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:

– Вот до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвечает:

– Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.

– Как это «некогда»! Только в том ведь и де-

ло все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет... В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет все хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.

– Нет, – говорит, – уже про это некстати и думать теперь!

– Да отчего же некстати-то?

– Да оттого, что я окован и смерти жду.

– А я тебя возьму да и выпущу. Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:

– Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя «как свою душу берег», а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает – вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься, а если станешь опять зло творить – ну, уж тогда не меня обманешь, а господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле кон-

ские железные путы, и посадил его на коня, и сказал:

– Ступай с миром на все стороны.

А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, – и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей; свитой.

Осмотрелся хан и спрашивает:

– А где Хабибула?

Панька отвечает:

– Я отпустил его.

– Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?

– Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили, – вот возьми меня и вели меня вместо его мучить, – пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других – никого не бою-

ся ни капельки.

Тут Хан-Джангар стал водить глаза во все стороны, а потом на голове тубетейку поправил и говорит своим:

– Подойдите-ка все поближе ко мне: я вам скажу, что мне кажется.

Татары вокруг Хана-Джангара стеснились. А он сказал им потихонечку:

– А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был...

– Да, – отвечали татары все одним тихим голосом, – нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновение всем нам ясен стал: он ведь, может быть, праведный.

Впервые напечатано – журнал «Игрушечка», 1891.